ВАЛЕРИЙ ГРОЗАК

Я ЕЩЁ НЕ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ

 *(синопсис повести)*

*«Когда мне кто-нибудь говорит, что я совсем непрактичен, ничего не нажил за свою жизнь, нигде не смог «нагреть себе места», я отшучиваюсь и отвечаю: «Это всё потому, что я еще не вернулся с войны...»*

 Григорий Гурьев.

Все герои этой повести реальные люди, и повествование целиком состоит из их документальных рассказов. Главный герой – солдат Великой Отечественной войны Григорий Гурьев. Григорий одарённый музыкант, художник и поэт, на его долю в хаосе войны выпали немыслимые страдания, унижения и безжалостные удары судьбы, но, не смотря ни на что, он смог сохранить достоинство, свой незаурядный талант и кристально чистую душу. В начале войны он оказался в плену, чудом спасся из плена, попал в облаву, бежал по дороге на расстрел, опять облава, германская каторга, пришли наши, штрафная рота. В боях под Берлином он совершил подвиг и был награждён медалью «За отвагу». Но самое страшное ожидало Григория дома: его жена художница не вынесла страданий военных лет и вскоре после его возвращения потеряла рассудок и умерла совсем молодой в 35 лет.

До войны в середине 30-х годов Григорий и его будущая жена Рара Ларионова учились в Художественных институтах, он в Москве, а она в Киеве. Это было время самых свирепых сталинских чисток. Не обошли они и Рару с Григорием – их из институтов отчислили. Позже Григорий стал учиться в Киевской консерватории по классу гобоя, но с последнего курса ушёл на фронт.

*Г.Г. «В военкомате набирали группы по 100 человек. Подошла Рара с мамой и маленьким Валеркой на руках, она казалась мне похожей на Сикстинскую мадонну Рафаэля. Я уходил в одной из сотен. Рара передала сына маме и пошла рядом с колонной. Она то шла, то бежала, по дороге заскочила в магазин, купила буханку хлеба, догнала колонну, вручила мне на ходу хлеб и, вцепившись обеими руками в мою руку, еще шла шагов 50, что-то лепетала на прощанье, вглядываясь в моё лицо, а потом отстала. Я шёл и всё оглядывался на неё и думал, что больше я никогда её не увижу. Она стояла босая – сбросила где-то босоножки, чтобы легче было бежать».*

В первую же неделю в боях под Киевом Григорий оказался в плену.

*Г.Г. «Немцы тогда еще не сортировали пленных. Только отбирали евреев и устраивали такие игры. Из-под масла для пушек оставались квадратные банки с большими отверстиями. Они заставляли евреев надевать эти банки на головы и приказывали им петь, плясать и барабанить себя по банкам. Если человек выбивался из сил, его лупили чем попало, и он опять начинал плясать, пока не упадёт».*

Благодаря невероятному стечению обстоятельств, Григорию удалось вырваться из плена. Немцы выпускали на свободу украинцев-галичан, но они плохо разбирались, кто есть кто, и всех киевлян записали галичанами тоже. А когда опомнились, то те уже так далеко ушли, что было их не выловить. Вернулся Григорий в оккупированный Киев. Но не прошло и нескольких дней, как он попал под облаву.

Г.Г. «*На третий день моего пребывания в Киеве, я пошёл пройтись по городу. Вдруг из-за угла выскакивает немец с винтовкой и кричит мне «цурюк!» (назад!). Я подумал, проберусь проходными дворами. Иду в первую подворотню, а там стоит полицай – наш земляк в длинной до пят черной шинели с дубиной, оружие им не доверяли. И он тоже командует мне: «цурюк!». «Иди, – говорит, – туда, на площадь». Народ потом прозвал полицаев «цурюками». Парадные всех домов забиты досками, в дом не войдешь. В очередной подворотне, куда я хотел завернуть, стоит целая шеренга полицаев, у кого дубины, а у большинства просто ветки. Ветки, конечно, гуманнее дубин, они ими не бьют, а заворачивают людей, как скотину: «цурюк!», «цурюк!» Я иду уже не один, нас уже трое, семеро…, и загоняют всех во двор школы. Он огорожен 4-х метровой стеной. Много людей. Все понимают, что это облава, и что теперь их ожидает смерть».*

Григория и ещё 400 киевлян повезли на расстрел в Бабий Яр. В кузове грузовика он оказался у заднего борта и на крутом повороте мигом перемахнул через борт и выскочил из машины. В него стреляли, но не попали, ему удалось юркнуть в знакомую с детства подворотню и уйти проходными дворами от возможной погони. Но, увы, через пару дней его настигла вторая облава. Всех, кого немцы поймали в этот раз, они отправили на каторжные работы в Германию. Григория купил приказчик с какой-то угольной шахты. Три года с утра до вечера, валясь с ног от усталости, часто падая в голодный обморок, он выкатывал из забоя тысячи и тысячи вагонеток с углём. На четвёртый год, наконец, настал тот день, когда с востока послышалась канонада, и с каждым днём всё громче и всё ближе. Немцы запаниковали и начали спешно съезжать. Всех невольников-работяг они угоняли с собой. Григорию удалось улизнуть в последний момент и спрятаться под землёй. Он знал из немецких газет, что наши скорее всего его расстреляют, но теплилась надежда, что, даст Бог, и ему выпадет штрафная рота. Когда советские части вошли в шахтёрский посёлок, Григорий подошёл к первому встречному офицеру и доложил, кто он и что с ним произошло. Его арестовали и повели на допрос. К счастью, не расстреляли сразу, но были минуты, когда всё зависело от настроения того или иного офицера.

*Г.Г.* «…вошел какой-то майор и спрашивает: «Кем ты работал?». Говорю: «Откатчиком вагонеток». Майор: «Покажи руки». А у меня мозолей нет, я объясняю ему, что работал в двух рукавицах. Если голыми руками откатывать тысячу вагонеток в день, у меня бы рук не осталось через два дня. Он: «Врешь, сволочь!». И мне кулаком по шее как врезал, я не ожидал, у меня чуть башка не оторвалась. У него кулак такой здоровенный. Ну, ничего, остался жив».

Допросы длились несколько дней. Наконец, объявили Гурьеву, что он направляется в штрафную роту, и для него это было настоящим счастьем.

*Г.Г. «Я больше всего боялся, что если приговорят к расстрелу, то я с позором погибну от русской пули. Поэтому я мечтал попасть в штрафбат, чтобы умереть в бою. Пусть бы меня убила вражеская пуля, но только не своя. Вернуться же домой хоть когда-нибудь казалось совершенно несбыточным».*

ТАМАРА КРЫЖАНОВСКАЯ:

*Много лет мы с мамой жили в одном доме с семьёй Ларионовых. Мама дружила с Наташей и Рарой. Я была ещё маленькая в войну, но когда выросла, мама мне много рассказывала о том времени. Первая военная зима выдалась очень холодная и снежная. В январе 42-го года четверо пленных бежали ночью из концлагеря, а наутро их должны были расстрелять. Мама пошла в сарай набрать дров, чтобы затопить печку. А накануне выпал свежий снег, и на нём хорошо были видны следы, и вели эти следы прямо в наш сарай. Он же не закрыт, а просто дверь прикрыта. И эти четыре смертника забились там в угол, совсем молоденькие солдаты. Мама говорит: «Ну, хорошо же вы спрятались, ничего не скажешь. Пошли хлопцы, ко мне до хаты, бо вас тут по следам мигом найдут». Они с неохотой и боязнью, но всё-таки согласились. Комната, в которой жила Рара со своей мамой Клотильдой Ивановной, была через стенку от нашей. Когда-то они не были разделены, там раньше в стене была дверь, которую с нашей стороны заклеили обоями, а с их заставили большим шкафом. Мама придумала такой план: вначале спрятать беглецов у Рары, а когда придут немцы, сперва они обыщут нашу комнату, потому что она окажется первой на их пути, а пока они будут переходить в комнату Рары, солдатики отодвинут шкаф, откроют дверь и перейдут к нам. Рара и её мама согласились. Из шкафа самые тяжёлые книги вынесли на веранду, а с нашей стороны мама по периметру двери незаметно надрезала обои. Чтобы не было какого-то запаха, спалили в буржуйке газету и напустили немного дыма. Вскоре явились гестаповцы в своей чёрной форме с автоматами. Мама встретила их у двери, показала им свою комнату, а когда они вышли, она еще некоторое время в коридоре кокетничала с ними, шутила и нарочно громко болтала. Она уже знала несколько фраз по-немецки, могла с немцами точить лясы на ломаном русско-немецком языке. Мама довольно ничего себе была, оригинальная такая, рыжая, голубоглазая. Как только беглецы услышали, что немцы от нас вышли, они отодвинули шкаф, открыли дверь и протиснулись в нашу комнату. Рара и её мама, две слабые женщины, с трудом, но поставили полупустой шкаф на место, и Клотильда Ивановна сразу села к роялю и заиграла Бетховена. До этого она всё время играла Шопена, и смена музыки была для мамы знаком, что уже можно заходить. У них ещё была наивная надежда, что немецкая музыка может как-то гестаповцев расположить. Когда те зашли, то никого они не обнаружили и ни с чем пошли делать обыски дальше. У нас на первом этаже жил фельдшер, связанный с партизанами, он увел ночью этих ребят в лес. Таким образом, было спасено четыре души человеческие, но риск был, конечно, громадный».*

*Г.Г. «Наши войска продвигались всё ближе к Берлину. И вот наша рота оказалась в окрестностях городка Пенциг. На небольшом расстоянии от линии фронта немцы соорудили на холме крепчайшие пулемётные гнёзда – брёвна в три наката и бетон. А у подножия холма они заложили минные поля. Попробуй туда сунуться пехотой, ни от кого ничего не останется. Наша рота получила приказ штурмовать ночью эту высоту. Мы снялись в полночь и двинулись через нейтральную полосу. Бог знает сколько мы шли, когда вдруг команда: «Ложись!» За секунду до этого был слышен артиллерийский залп, черт знает откуда. Только мы легли, засвистели мины: громче, громче, громче. Взрывная волна шарахнула с такой силой, что контузило нашего командира. Он оглох, а осколком пробило ему руку. Перебинтовали как-то ему руку, и он говорит: «Ну что, ребята? Наше дело солдатское – надо идти вперед». И мы пошли. Полный мрак. А еще от мин в воздухе висит туча взрывной пыли, и она не оседает, а раскаленная плавает в воздухе. Вскоре мы поняли, что оглохший капитан командовать не сможет, и это для всех был тяжелейший удар. До края минного поля добрались перед рассветом. Было ощущение какого-то мистического ужаса, как будто мы перешли куда-то на тот свет – кромешный мрак, ничего нет, ничего не понятно, и неизвестно, что делать. Немцы, вероятно, под утро задремали. Мы залегли один от другого на расстоянии вытянутых рук, растянулись на километр. И не знаешь, что делать дальше, никто ничего не командует. Прошло несколько минут, и вдруг у кого-то не выдержали нервы, и он по глупости без команды пальнул в сторону высотки****.*** *Все приняли это за сигнал и тоже начали стрелять. Ну и с этого началась наша погибель впрямую. Немцы проснулись и увидели, где мы лежим, потому что выстрел выдает стрелка. Они ответили на наш огонь, и оказалось, что у них на высотке четыре пулемётных гнезда… Немцы стали выбивать наших. Вот я слышу, застонал один, где-то через три человека застонал другой… Слева от меня лежал капитан Рыжов, который, не знаю за что, был разжалован в рядовые. Он был ужасно удручен тем, что с ним приключилось. Наш командир, чтобы не унижать его, определил Рыжова как отдельную огневую единицу. Дал ему пулемет Дегтярева, и тот не подчинялся никому, кроме командира. В бою он никогда не надевал каску. Все надевают, а он нет – он как будто играл со смертью. И вот судьба выбрала, чтобы мы лежали рядом на краю этого минного поля. Он понимал, что если выдаст себя пулемётной очередью, то на нем скрестятся все 4 ствола, и его обязательно убьют. Вероятно, предчувствуя свою скорую гибель, он велел мне отползти от него подальше и начал строчить из пулемета, но не по высотке, а по минному полю. Я был настолько неопытный, что не понял, зачем он это делает. Позже мне объяснили, что он хотел прострелить коридор в этом минном поле. Когда он попал в ближайшую от нас противотанковую мину, громадная масса взрывчатки взорвалась с таким мощным грохотом и так близко, что я наполовину оглох. Осколком этой мины капитана Рыжова убило. Стало так страшно – не то, что там за жизнь, а что это конец света. Я никогда не слышал, чтобы такая мощная мина разорвалась совсем рядом. До рассвета оставалось не больше получаса. Как только станет светло, рота будет у немцев, как на ладони, и нас перестреляют всех до одного. Отступить назад тоже было нельзя – грозный Генералиссимус издал приказ: ≪Ни шагу назад!≫, и заградительные отряды смершевцев, следуя на безопасном расстоянии, расстреливали всех, кто пытался отходить. У нас тоже был свой заградовец, лейтенант. Он перед боем вскинул автомат и заорал: «Имейте в виду, что я не пожалею никого. Если кто-то повернет в тыл, он никуда не придет, уложу на месте». Я стал лихорадочно соображать, есть ли шанс переползти через это минное поле. Просунул руку за колючую проволоку, пошарил туда-сюда и понял, что это был деревенский огород. Оказалось, что там грядки и между ними утоптанная стёжка, прямо напротив меня. Получалось так, что если лечь на бок, то можно рискнуть проползти по ней. Скорей всего, что я подорвусь, но всё равно мне казалось, что лучше уж мгновенная смерть от взрыва, чем так лежать до рассвета, приникнув к земле, и обречённо ждать смерти. Я подумал, что надо попытаться проползти через минное поле и хоть половину из четырех пулемётов заглушить. Набил гранатами сумку от противогаза, взял с собой фаустпатрон и пополз. Стёжка узенькая, но утоптана плотно. Сначала крайне осторожно вытянул вперёд правую руку, ощупал почву, чтобы только чуть-чуть ощутить мину, если она есть, но не торкнуть её. Там, вроде, ничего не было, понадеялся, даст Бог, и дальше не будет. Ползу я на боку и волоку за собой фаустпатрон и сумку с гранатами. Напряжение безумное. Ну и, конечно, мне кажется, что я ползу уже целую вечность. Каждый раз прежде, чем сдвинуться, вытягиваю руку вперёд и ощупываю дорожку. И вдруг я ощутил под рукой пыль и понял, что огороды кончились, и я дополз, до обыкновенной просёлочной дороги. Осторожно, без единого звука я переполз её и, невидимый в темноте, подобрался на расстояние дюжины метров от ближайших двух пулемётных гнёзд. Гранату можно было добросить спокойно. Эти гнезда были рядом, и я даже слышал, как немцы разговаривали. Ну и на их голоса я бросил гранаты. Я точно не знал, где кто, очевидно, убил обоих. Тишина, ни звука. Бегу к другим точкам, спрыгиваю в траншею, там никого нет, стоит фаустпатрон, подбираю его и бегу в глубину дальше. Впереди третья точка и четвёртая на горе. В третьей я немца прикончил – он и опомниться не успел. Я не подходил к нему так уж близко, только издали швырнул в него гранату и побежал в гору к четвёртому. А у того только голова видна на фоне неба, чуть выше уровня траншеи. В момент, когда я возник, он достреливал последний десяток патронов и меня не заметил. Пули летели надо мной – он стрелял по нашей цепи. А когда перестал стрелять, настала внезапная тишина. Чтобы держать фаустпатрон двумя руками, я приставил второй к стенке траншеи, отчего на доски пола посыпалось немного земли. Было видно, как немец сразу дернулся от этого звука и увидел, что я рядом. А в это время у него кончилась кассета. Он начинает выдёргивать эту кассету, но от страха у него так дрожат руки, что он не может её выдрать. Пока он её перезарядит, мне надо успеть, схватить свой фаустпатрон, уложить на плечо, направить и отжать пусковой крючок. Слышу, он выдернул кассету, тарахтит новой, не может её вставить, вставил, сейчас нажмёт на курок. На долю секунды раньше я выстрелил в него. Он отшатнулся от выхлопного пламени, и балабоша от моего фаустпатрона пролетела мимо него, а пули, которыми он метил в меня, просвистели над моей каской. Он опять начинает тарахтеть уже пустой кассетой. В кассете где-то 18-20 пуль, это рожок типа Калашникова. Он тарахтит пустым рожком, наконец, выбросил его, вставляет новый. Мне надо в это время бросить использованный фаустпатрон, дотянуться до второго, вскинуть его на плечо, и я вижу, что не успеваю, и поэтому стреляю из-под руки. На этот раз балабоша ударяет его в грудь, убитый, он падает на дно траншеи, а его автомат, зажатый в мертвых руках, продолжает стрелять, и чем ниже он падал, тем выше в зенит уходили пули. А балабоша, ударив немца, отскочила в яму с запасом гранат. Они так рванули, такой получился взрыв, что бревна в три наката разлетались в черноту неба, как городошные биты. И почему-то стало светло, как днем, и свет какой-то мигающий. Впечатление такое, что едет на эту горку машина с включенными фарами, её трясет, и свет мигает. Но я же понимаю, что этого не может быть. А что ж это такое? Вдруг замечаю, что близко от меня в траншее тоже светло. Тогда смотрю – оказывается, я весь горю, как факел. Вся моя одежда горит. Ну, я в таком возбуждении, что ожога не чувствую, а просто соображаю остатками мозгов. Дело в том, что пламя при выстреле из фаустпатрона вырывается как вперёд, так и назад. Когда стреляешь с плеча, оно улетает за спину, а я в спешке держал фаустпатрон перед собой, и пламя охватило одежду. Я стал срывать с себя одежду. Буквально за секунды был абсолютно ни в чем, голый. Остались башмаки и на голове каска – больше ничего. В кармане был портрет сестры Веры, он тоже сгорел в этом переполохе. В другом кармане была граната, оставленная для себя. Слава Богу, она не взорвалась. Назад к своим пошёл уже, как Адам. Дошел до того места, где переползал, подумал, черт его знает, может, где-то ещё что-то осталось? Потом решил, да будь, что будет, пошёл и не взорвался».*

Контуженный и обгоревший, Григорий долго мыкался по госпиталям. Когда он вернулся в Киев, пришёл домой, дверь открыла Наташа. На её крик: «Гриша вернулся» из комнаты выскочила Рара. Она глянула на Григория, отрицательно покачала головой и обронила в сердцах: «Нет, это не он, зачем такие шутки…», развернулась и ушла.

*Г.Г. «Потом как-то наново мы начали с Рарой знакомиться, подробностей я уже не помню. Как выяснилось гораздо позже, Рара в то время уже была безнадёжно больна. Если взвесить весь груз переживаний, которые она перенесла к своим 30 годам: изгнание из художественного института, тяжёлые роды, война, оккупация, обыск квартиры гестаповцами, голод, четыре года она ничего не знала, где я и что со мной – всё это было гораздо больше, чем её психика могла выдержать. Как у всякой художественной натуры, положение усугублялось ещё и сверхострым восприятием. Я думаю, ей было больше, чем страшно, когда зашли эти эсесовцы, на них одежда, цвет этот черный, автоматы. А она с годовалым ребёнком на волосок от смерти…*

*В милиции мне в паспорте отказали, начальник сказал: «Поскольку ты был в оккупации и в плену, мы не можем знать достоверно, чем ты занимался – может быть, ты был палачом или полицаем. Я пришел к нему в солдатском, так он говорит: «Какой ты солдат, для нас ты «репутриант». При мне был военный билет и медаль, была положительная характеристика от командира роты, но всё равно такие, как я, становились отверженными...* *Отец Рары был знаком со старым рабочим с завода «Большевик». Он пошел к нему, посоветоваться, и тот сказал: «Пусть Гриша завтра приходит на завод. Я вместе с ним пойду в отдел кадров». И вот меня, «репутрианта» без паспорта, по блату оформили чернорабочим в чугунолитейный цех, где я и остался на 25 лет.*

*А Раре становилось всё хуже и хуже, болезнь обострялась, она почти перестала есть – ей казалось, что вся еда с отвратительным запахом. В 1950 году, ещё по снегу её увезли в больницу, а 16 марта она умерла. Раре было только 35».*

*Г.Г. «Однажды, придя на смену, я проходил мимо группы рабочих собравшихся возле конторки нашего цеха. Слышу, кто-то сказал что-то смешное, и все га-га-га. Ни в одном цеху так громко не смеялись, как у нас в литейке. У большинства работяг глотки лужёные, как рявкнут, так стекла дрожат на третьем этаже. И вот среди этих привычно грубоватых лиц, среди этих «мордоворотов», как они сами себя в шутку называли, я вдруг увидел нежное, трепетное, красивое лицо девушки. Оно настолько выделялось, что я просто почувствовал, как будто меня током ударило. Не понял даже сразу, в чем дело. И только, подойдя поближе, я увидел, что это новенькая крановщица, совершенно, так сказать, необстрелянная девушка, которая первый день пришла на работу в нашу литейку. Когда я её увидел, всё остальные вокруг как-то смазалось, конструкции цеха расплылись, растаяли, и только её лицо оставалось в центре четко вылепленное, освещённое и поразительное по красоте. Её поставили работать в ночную смену с нашей бригадой. Звали её Таня. А у наших хлопцев манеры те ещё, за словом они в карман не лезли, выражений не выбирали и слов непечатных не стеснялись. Когда утром я случайно столкнулся с Таней – на ней лица не было, я понял, что она в полном отчаянии от того, куда она попала. Я попытался как-то сгладить её первое впечатление: «Эти люди вовсе не злые, просто у нас такой стиль общения. Они привыкли к грубым словам – уж такая наша работа. Старайтесь не обижаться, это всё совершенно не смертельно. Поверьте, Вас никто не хотел обидеть». Что-то в таком духе я ей говорил. После этого Таня стала как-то особенно со мной здороваться и так немножко повеселела. Через какое-то время я на две недели уезжал в Москву повидаться со своими однокурсниками по Художественному институту. Когда вернулся в Киев, поезд пришёл поздно вечером, и я прямо с вокзала пошёл в цех на ночную смену. О Тане я даже успел немножко забыть. И вдруг неожиданно она откуда-то вылетела, кинулась ко мне и лепечет: «Дядя Гриша, дядя Гриша, ну где же вы пропадали? Я уже не знала, что и думать!» Я был так тронут, просто чуть не до слез и целый день находился в каком-то счастливом полусне».*

Прошло много лет, и однажды дядя Гриша познакомился с молодой поэтессой Евгенией Ветровой. Она была очарована его довоенными живописными работами и смогла убедить его опять заняться живописью. Впоследствии они полюбили друг друга. Через несколько лет состоялась выставка художественных работ Григория. Одно из своих стихотворений Евгения Ветрова посвятила Григорию Гурьеву:

«Я не могу уснуть от мысли, что Вы – не вечны.

 Что все начала и все концы – две птицы вещих.

 Что будет день, когда сойду я одна на пристань,

 И объяснить, зачем живая – не хватит истин.

 И канут в Лету слова любви и поцелуи,

 Но жить так больно и неумело уж не смогу я?»

 *\*\*\**